

КИКИ

Его зовут Кики. Нет, Кики — это не настоящее имя. Так попугайчика звали, который жил в его комнате, ещё когда он был маленький, ещё когда родители были живы. Попугайчик умел говорить и по сто раз на дню произносил своё имя, вот он его и запомнил. Никаких других слов, к сожалению, больше так и не выучил.

Когда не стало родителей и он вынужден был переселиться в дом для инвалидов, то по всякому поводу произносил, да и теперь произносит, любимое слово — так оно к нему вместо имени и прилепилось.

Кики маленький, кругленький и почти как две капли воды похож на своих сородичей из племени даунов. Впрочем, мы японцев с китайцами тоже друг от друга не очень-то отличаем, но это я так...

Кики добрый. Улыбается целыми днями и готов всегда выполнить всё, что бы ни попросили.

Кики трудолюбивый. Он работает в маленьком цехе, где собирает коробочки из картонных заготовок. Сто коробочек, двести коробочек в смену, а то и все триста. Неделями, месяцами, годами... Уму непостижимо, сколько коробочек наберётся за все эти годы, но его привели однажды сюда, посадили, показали, что надо делать, — и он собирает.

Кики прилежный и аккуратный. Всё, что нужно ему для работы, стоит у него на столе в строго определённом порядке; стоит хоть чуточку этот порядок нарушить, он тут же это заметит, тщательно всё поправит и лишь после этого продолжит работать.

Кики собирает коробочки и ни на что не отвлекается. Разве на пару минут, когда, например, бабочка в цех залетит или зайдёт незнакомый кто, или... Впрочем, всё достаточно однообразно, поводов для отвлечения не слишком-то много, только иногда бывает приятно на что-нибудь переключиться, когда ты день за днём собираешь и собираешь одни и те же коробочки.

Периодически, раз, а то и два раза за день, коробочки эти Кики осточертевают, достают до печёнок прямо. Тогда он внезапно срывает с себя очки, швыряет их на пол (благо пол с мягким покрытием и стёкла из пластика не разбиваются), затем, что есть силы, швыряет в пространство очередную коробочку и начинает вопить на одной единственной ноте: «Ай-йй-йй-йй-яяяй...». Замолкнет на секунду — и снова: «Ай-йй-йй-йй-яяяй...». И снова... И кулаками размахивает. И слёзы текут по щекам.

Так он кричит, бедолага, пока не устанет или пока на него снова не наденут очки. Тогда Кики стихает, сникает, голова его опускается, и он задрёмывает на считанные

минуты. Очнётся — и вновь, как ни в чём не бывало, начинает очередную коробочку складывать.

Мне однажды захотелось понять, что же это такое с ним происходит. Я нашёл себе стол, принёс ящики с заготовками и стал, как и Кики, из заготовок коробочки складывать. Какое-то время было мне даже и интересно: я старался работать как можно быстрее, точнее, даже соревнование сам с собою устроил. Но развлечением это оставалось недолго. Стало надоедать. И чем дальше, тем больше. И когда через неделю Кики завершал в конце смены своё «ай-яй-яй», мне вдруг захотелось швырнуть всё к чёртовой матери и заорать вместе с ним — что есть силы. После этого я на себе эксперименты не ставил.

До чего же хорошая штука — свобода выбора. Жаль, что Кики об этом никогда не узнает.

СТРАУС

Вначале было больно и страшно. Будто наказали — неизвестно за что — и забыли простить. И не захотели простить. А потом он стал страусом. И все страхи, и боль ушли понемногу. И, казалось, совсем, навсегда.

1

ЗПР иногда называют — задержка развития. Это когда твои сверстники болтают уже давно смешные всякие глупости, а ты всё молчишь и молчишь, все малыши рисуют уже и лепят, а ты всё никак... Это когда ты почти совсем такой же, как все, но только почти.

А ужасное самое, что эту задержку и ты сам, по тому, как относятся, тоже чувствуешь, понять только не можешь, за что, отчего же так!

2

Отставание было совсем-совсем крошечное, так что и читать, и писать, и считать — всему выучился, вот только с логикой выходило всегда плоховато, но школу, пусть специальную, по облегчённой программе, закончил всё ж таки.

После, когда стал жить в маленькой общежитской комнатке — сам, даже не сразу привык, что больше никто задевать, потешаться, бить и мучить не станет. Но внутри ещё долго какое-то гадкое ожидание оставалось, что сейчас войдёт кто-то и что-нибудь очередное пакостное и выкинет. А когда стучали, аж вздрагивал. Но понемногу проходить опасения эти стали, и внутри заживало всё, успокаивалось.

3

Долго не мог ни к какому делу прибиться, никакой работы не находилось, никак. Очень хотелось, во-первых, чтобы получалось всё сразу, но так не выходило, а его, как казалось, донимали за это, подначивали, и он смириться не мог, понять, что это нормально, что у всех поначалу так... Слишком уж в интернате досталось, чтобы снова терпеть. А во-вторых, где попало работать не мог и не собирался. Обдирающий руки ржавый и жирный металл, вонючие жидкости, гудящие конвейеры, грохот кузни — всё это было ужасно, отвратительно, казалось бездушным и потому — безобразным.

Так много месяцев продолжалось, пока не занесло однажды в парк аттракционов. Здесь и остался работать, страусом, потому что никто не шпынял, не дёргал, да и учиться ничему особенному не пришлось: он ходил по аллеям, раздавал воздушные шарик и играл с малышами — всё просто и замечательно.

4

Он отчего-то выделил её, сразу; ужасно понравилась, просто не передать; всё замирало внутри, когда видел; иногда переходил потихоньку за ней с аттракциона на аттракцион — любовался; и даже дома светился потом, будто праздник.

Она чуть не каждый день приходила, после обеда, и уже, почти что всегда, до закрытия оставалась. Вот только он всё никак подойти и познакомиться не осмеливался — стеснялся.

Наконец, отважился и вечером, в свой выходной, дождался у выхода, подошёл, протянул тёмно-красную розу и застыл — безмолвный, смущённый, весь внутренне сжавшись от робости, переживания... Но она только хмыкнула с надменной улыбочкой, глазки широко-широко открыла, плечиком повела, губками пошевелила, будто что-то сказать хотела да передумала, и удалилась, а он следом пошёл, поодаль чуть; проводил до самого дома, счастливый и этим — донельзя.

И на завтра пришёл. Тоже с розой. И когда цветок протянул, вдруг смутился необыкновенно, ещё больше, чем в первый раз, пунцовый такой сделался... даже сам нестерпимый жар этот чувствовал. А она снова хмыкнула, гримаску капризную скорчила... Протянула небреженько:

— Ладно, поклонник, пойдём, где-нибудь посидим. — И пошла себе не оглядываясь, с вялой полуулыбочкой.

5

Пять раз уже виделись. Только она никогда весёлой такой не бывала, как на качелях и горках. А так хотелось развеселить, увидеть замечательную улыбку, услышать, как хохочет от удовольствия... Тем более, что не сказал, где работает.

Он подошёл неожиданно к ней на аллее в своём страусином нарядном костюме, преподнёс галантно красную розу и внезапно... вместе с шеей снял страусиную голову.

Она сначала совершенно оторопела, как вкопаная замерла, а потом на губах вдруг гримаса прорезалась — чудовищная, уничтожающая, хохотать начала — презрительно, и смотрела, как на пакость какую-то, и стучала себя по лбу, и у виска крутила, и такую гадость сказала!.. Так к выходу и направилась: оборачиваясь, гримасничая и крутя у виска; а он без сил на лавочку опустился и застыл — подавленный, уничтоженный — полуживой...

6

— Ты что, сломался? — строго спрашивала огненно-рыжая девчушка в замечательном розовом платье, настойчиво теребя его за рукав. — Сломался, да? Почему ты молчишь как рыба! Отвечай!

— Нет, не сломался. — Он, наконец, вынырнул из ниоткуда и мотал головой, не в силах сосредоточиться, осмыслить, кто же это и чего от него хотят. Наконец, удалось всё же взять себя в руки, собраться:

— Ты глупая, человек сломаться не может. Он не машина, — и внезапно улыбнулся непроизвольно, такая она была серьёзная и смешная, — я просто устал, понимаешь?

— Понимаю, конечно. Только почему ты сидишь здесь без головы? Разве без головы отдыхают? Ладно, я вижу, ты уже хорошо отдохнул. Надевай свою голову и идём искать мою маму. Я, кажется, потерялась.

— Ну вот, с головою намного лучше. Теперь бери меня за руку и идём, наконец, искать, а то мама, конечно же, вся избегалась... А тебя каждый день здесь можно найти?

— Почти каждый, я же работаю.

— А выходные?

— Выходные у меня в понедельник и вторник, а в другие дни я обязательно (под ноги смотри), обязательно в парке.

— Я смотрю. Мы тебя здесь тогда в невыходные найдём и будем вместе гулять — я, ты и мама. Договорились?

МУЗЫКАНТ

Когда одним и тем же автобусом едешь изо дня в день, к одному и тому же времени, то большинство пассажиров узнавать начинаешь и даже здороваешься. Вот мы с ним таким образом около года и сталкивались.

Он где-то раньше садился. Когда я входил, он уже сидел на своём излюбленном месте в центре салона и, отрешённо уставившись перед собой, слушал какую-то музыку.

Был он ужасно худой, нескладный, щёки запавшие, узкие губы совершенно бескровные, жидкие волосы висели длинными прядями и редко бывали расчёсаны, а в руки вьелось какое-то бурое вещество, с которым он, видимо, постоянно работал; и всегда у него на шее висел яркий плеер, а в ушах торчали наушники.

Спокойно он не сидел ни минуты, что-то всё время беззвучно напевал, осторожно, боясь зацепить соседа, водил перед собою руками — дирижировал, даже подпрыгивал несколько от возбуждения; при этом некрасивое, длинное лицо его постоянно менялось: он улыбался — восторженно, осторожно, саркастически и вдохновенно ... он гневался и печалился, отчаивался и вновь надеялся... Лицо его отражало бесконечную гамму чувств и их всевозможных оттенков. Я за это про себя называл его «музыкантом».

Дважды мне удалось музыканта увидеть вне автобуса. Первый раз он шёл с какой-то седой женщиной — такой же, как он, худой и к тому же невероятно высокой. Плеера в этот раз на нём не было и, может быть, потому музыкант выглядел жалким, чем-то невероятно напуганным: голова его была низко опущена, бедняга шараялся от прохожих, вздрагивал, если вдруг к нему кто-то нечаянно прикасался, двумя руками цеплялся за руку худой великанши, зябко жался к ней... Так карманная собачонка, спущенная на землю, без всякого повода в страхе жмётся к ноге хозяйки.

А второй раз музыкант был один, и родной его плеер был с ним. Двигался музыкант довольно плохо: ноги при ходьбе заплетались, тело раскачивалось, голова на худой длинной шее моталась, как маятник... Но при этом он даже не шёл, а летел, глаза были полузакрыты, руки двигались широко и свободно, точно он управлял невероятно огромным оркестром; ещё, казалось, он пел — восторженно, упоённо, и лицо его при этом освещалось ликующей, победной улыбкой.

День был субботний, центр кипел праздным, хаотично шатающимся народом, но ему было всё равно: в своём самозабвении он люд этот просто не замечал; он врелся

в него, как форштевень врезаётся в воду, и толпа, как вода, расступалась, не в силах устоять перед этим напором, перед этой энергией всепоглощающего вдохновения.

И я поймал себя вдруг на том, что завидую музыканту, завидую остро тем удивительным чувствам, которые он, должно быть, теперь испытывает. Правда, должен признаться, что зависть моя продолжалась всего одно только микроскопическое мгновение.

НИНЕЛЬ И ИРАКЛИЙ

Когда-то она была очень красива! Удлинённое лицо обрамляли волнистые волосы цвета гречишного мёда, глаза были светло-зелёные, колдовские, а веснушки придавали лицу чудесную прелесть и просто сводили с ума. А потом она заболела. Так же, как и брат, которого теперь уже нет. Болезнь неумолимо заковывала её тело в панцирь, почти сразу отняла возможность ходить, а теперь уже даже руки двигались еле-еле. Недуг прогрессировал, но происходило всё мучительно медленно, и каждый новый день нёс новую невыносимую боль; никто во всём мире ничем не мог ей помочь.

Чтобы не оставаться всё время одной и хоть как-то отвлечься от боли, она попросилась на работу в маленький цех предприятия для инвалидов, где укладывала какие-то инструкции на дно картонных коробочек — это она могла пока ещё делать. Здесь они и познакомились.

В равнодушной своей жестокости природа дала ему силу и красоту, а разум отняла почти весь: он не разговаривал, не читал, не писал, но понимал и мог делать довольно много. И работа в прачечной была у него, по меркам этого заведения, сложная и ответственная.

А тут он её увидел, и с ним что-то случилось — непонятное, необъяснимое, что оказалось сильнее ущербного разума, выше издевательской воли природы. Будто душа его непонятным образом разглядела в этом бесплотном, неподвижном почти существе с реденькими тусклыми волосиками, ввалившимися щеками и узким беззубым ртом — изящную, удивительную красавицу, какой была она множество лет назад.

Он носил в кошелёк её фотографию, ту, где она сидит в кресле и протягивает к нему руки, и улыбается, и всем подряд — знакомым и незнакомым — фотографию эту показывал. Подойдёт, и станет бережно из портмоне, подержит недолго у вас перед глазами, будто жалуясь, разведёт руками недоумённо и пойдёт, сокрушённо качая кудлатой большой головой.

Стоило выпасть свободной минуте, как он немедленно шёл в упаковочный цех, к её столику. Подойдёт, снимет с неё пепельный паричок (не любил отчего-то), натянутый, точно шапка, до самых бровей, и гладит, гладит по голове, потом поцелует осторожно бескровные губы и пойдёт по своим делам.

На этой работе, как и на всякой другой, людям положен отпуск. Ну, и ему дали отпуск, две недели сказали на работу не приходите. Но он, к удивлению многих, всё равно приходил к началу каждого рабочего дня, и стоял неподвижно у двери, и подолгу, неотрывно смотрел на неё.

С тех пор, что он появился, жизнь изменилась так сильно! Стоило ей его только увидеть, только почувствовать его приближение, как на серых щеках проступала бледная краска, на бескровных губах появлялось подобие слабой улыбки, боль отступала, и она вся подавалась ему навстречу.

Какое же это необыкновенное счастье, когда есть замечательный друг, которого можно попросить о чём угодно. Он часами катал её по дорожкам парка, осторожно

кормил мороженым из ложечки, водил в кино, гулял с ней по городу, завозил в магазины и безропотно ждал, пока она насладится чудесным видом нарядной одежды, обуви, украшений... Боже мой, сколько же удовольствий и радостей пришло вместе с ним! Изредка они даже отпраплялись в маленькое путешествие: он закатывал её в электричку, и они ехали, ехали... Он даже домой к ней заходил иногда, но только вёл себя очень странно: сядет в низкое кресло, упрётся локтями в колени, обхватит лицо ладонями и сидит неподвижно часами, смотрит не отрываясь, не дыша, а потом встанет вдруг и уйдёт; даже не поцеловал её дома никогда, ни единого раза.

Работа — это работа, от неё устаёшь, особенно когда неподвижно сидишь в инвалидном кресле, и даже позу переменить нет ни малейшей возможности. Когда эта усталость становилась невыносимой, она протягивала к нему худенькие, бессильные руки, и он немедленно, сломя голову спешил к ней на помощь. Поднимет из коляски, прижмёт к себе, как драгоценность, нежно и крепко, и ходит, и ходит кругами по цеху, будто танцует, а она положит голову к нему на плечо, обнимет за шею и улыбается тихо, и глаза сияют, будто два тихих, чудесных огня, будто два тихих, чудесных, уже нездешних огня...

МАРТИН

1

И всегда одни и те же унылые стены. И всегда одни и те же опостылевшие, невзрачные, постные лица. И вечно одно и то же, одно и то же! Совершенно ничего, никогда в тоскливой, безнадежной этой и безотрадной жизни не происходило. И так годы, и годы, и годы...

И вдруг в этом заурядном, безотрадном, мышинном существовании возникает — парк аттракционов! Карусели, качели, паровозик и горки; океан сумасшедшего, необузданного веселья, заразительного, неудержимого хохота; нескончаемый парад клоунов, карнавные шествия, уморительные кортежи; и петарды, и гроздя разноцветных шаров, и толпы беспечального люда... и музыка, музыка, живая развеселая музыка, до самых бездонных, голубых с зелёным небес...

А перед самым уходом — в громадном кафе под разноцветными зонтиками — их напоили превкусными, ароматными соками и накормили мороженым в огромных вафельных фунтиках, которые, хохоча и заигрывая, разносили по столикам расфурьенные огненно-рыжие клоунессы и игривые ведьмочки; и было так весело, так необычайно весело...

И на память об этом ошеломительном, волшебном событии остались у Мартина оранжевый резиновый шарик с какого-то аттракциона и чайная ложечка, которой он ел мороженое.

Ложечка была из блестящей красной пластмассы и такая необыкновенно красивая, что он моментально прикипел к ней всем своим существом и больше ни на минуту расстаться ни с ней, ни с шариком оказался не в состоянии. Потому что и шарик, и ложечка были дивным, неизгладимым воспоминанием, отголоском чудесного, давным-давно растворившегося во времени, но ни капельки не позабытого, не потускневшего в памяти праздника.

С этих пор шарик всегда лежал у него под подушкой, и Мартин перед сном обязательно с ним прощался. А ложечку он повсюду носил с собою, и ел всё только ею. То, что нельзя было есть драгоценной ложечкой — не ел вовсе. Только на ночь выпускал её из своих рук, клал под подушку рядом с оранжевым шариком, последний раз до неё дотрагивался и только тогда засыпал.

Дом, в котором он прожил почти всю свою жизнь, уже и до того, как он в нём поселился, был очень старым, но за последнее время он обветшал совершенно, и однажды им объявили, что в нём надо сделать основательный, капитальный ремонт, и поэтому все они — все до единого — переселяются. За годы, что он здесь провёл, у него, как и положено, накопилось множество разнообразных вещей. Всё подряд забрать на новое место почему-то не разрешили, и он, не в силах решить, с чем можно расстаться, весь свой драгоценный скарб бесконечно перебирал, сортировал, перекладывал... Времени отвели совсем мало, суета в доме стояла из-за этого страшная, нервогрёпка ужасная... и когда они все, наконец, переехали, оказалось, что оранжевый шарик на месте, а ложечка, его драгоценная красная ложечка — потерялась. Нигде, нигде её не было!!!

Он бродил и бродил по новым комнатам как потерянный. Слёзы то и дело наворачивались на глаза. Дыханье спирало. Одна щека от безостановочной нервогрёпки стала подёргиваться. Ему казалось, что здесь всегда холодно. Есть он больше не мог, потому что есть стало нечем. Никакие другие ложки и вилки он не признавал, видеть не мог... Через несколько дней голод, видимо, стал таким невыносимым, что он попытался есть суп из кастрюли горстями — это оказалось так мерзко, что он тут же бросил и больше ни к какой еде вообще не притрагивался.

Его всякими способами старались уговорить, предлагали хотя бы попытаться есть что-то руками — например, курицу или мясо. Он устроил скандал, закатил невиданную истерику, и даже попробовать хоть кусочек чего-нибудь — наотрез отказался.

На шестой только день у медицинской сестры, наконец, появилась здравая, но совсем не простая идея — ехать в парк аттракционов. Попытка — не пытка. Всё лучше, чем ждать и надеяться неизвестно на что. Кто назвался, тот, как говорят, и попался: по этому принципу медсестру же в поездку и отрядили.

Она возвратилась из командировки лишь поздним вечером, уже после ужина, и — о чудо — привезла две точно таких же красных пластмассовых ложечки! Одну из них сразу (на всякий пожарный случай) спрятали в надёжное место, а другую — выманив Мартина из его комнаты — положили ему под подушку, рядом с резиновым шариком, где она ночью всегда и лежала — будто сама отыскалась, будто, как в сказке...

И он, наконец, успокоился и мог снова есть и дышать. И, хотя бы на время, стал счастливым.

МАТРЁН И МАТРЁНА

1

Матрёна всегда первая появлялась. Придёт утречком, часам к десяти, сядет на лавочку под навесом возле центральной почты, платочек цветной или шарфик на шею поправит, руки чинно на толстых коленках сложит и сидит неподвижно — ожидает. Потом Матрён прибывает. Неспешно движется, невозмутимо, и подсолнух пластмассовый — чуть не в настоящую величину — перед собой несёт гордо, с сознанием собственной значимости. Едва Матрён к скамейке приблизится, Матрёна встаёт, глазки скромно потупит, с ноги на ногу переминается, ладошку, ковшиком сложенную, Матрёну протягивает. А Матрён здороваться не торопится, в небо глядит, о чём-то важным раздумывает, вроде как Матрёну и не замечает: он тощенький, ниже Матрёны на полголовы, но мужское своё достоинство блюдёт неукоснительно. Наконец, заметит-таки, любезность её и скромность кивком головы одобрит, руку подаст, цветок

любимый, к которому никому дотронуться даже не позволяет, Матрёне протянет, по плечу благосклонно похлопает, и усядутся они после всех этих церемоний на лавочку рядышком: улыбаться станут, в пространство глядеть и радоваться друг дружке.

Сидят не очень и долго. Ровно столько, наверное, чтобы приятное общество ни капелки не надоело, чтобы радость общения нисколько не притупилась. Потом, почти одновременно, встают, и Матрёна первым делом, глазки потупив, владельцу подсолнух замечательный возвращает; Матрён подсолнух возьмёт, осмотрит придирчиво, листочки погладит, удостоверится, что цветку ни малейшего вреда не причинили, и лишь после этого милостиво Матрёну по плечу крутому погладит; затем «поручаются» друзья на прощанье и до завтра в разные стороны разойдутся. И всё это без единого слова, без единого лишнего жеста — ритуал, церемониал, театральное действие.

2

Матрёна умерла ночью, внезапно. Заключение врачей был кратким: апноэ — остановка дыхания. Матрёну никто, разумеется, о смерти Матрёны не сообщил — кому бы это было нужно, зачем? — и он, как всегда, пришёл к лавочке возле почты, стал как вкопанный перед пустым местом, где его бессчётное число лет неизменно встречала Матрёна, и стал ждать, не в силах представить, что она не придёт.

День шёл своим чередом. С каштана у почты падали на Матрёна жёлтые листья, мимо сновали равнодушные люди, катились машины, трамваи... Иногда набегала туча и недолго шёл дождь. Прекращался. Набегал коротко снова... Матрён стоял неподвижно в мелкой лужице среди опавшей листвы, держал крепко, двумя руками подсолнух и ждал. Ждал, ждал и ждал.

Уже стало смеркаться, когда мама-старушка нашла Матрёна там, где и не ожидала найти — ведь он только утром сюда и приходил, никогда больше к почте не возвращался. Она попыталась было заставить его вернуться домой, но он ни за что не хотел уходить, стал кричать, упираться... Старушка плакала, уговаривала, пока не поняла, что сегодня самой ей с сыном не сладить, — и вызвала «скорую».

Матрён ещё несколько раз приходил к заветному месту, но только теперь, по просьбе матери, почтовики вызывали врачей немедленно; а потом, когда медикам стало понятно, что просто так навязчивость эту не устранить, бесконечно долго держали Матрёна в больнице, кололи, давали таблетки, и после ещё много месяцев без сопровождения вообще никуда не пускали.

С тех пор Матрён с утра до ночи бродит с подсолнухом, как неприкаянный, по всему городу, по центральным улицам и глухим переулкам... Иногда появляется он и возле центральной почты, но никогда возле лавочки не останавливается, даже к ней не приближается.

Не знаю, может, он понял что-то и Матрёну свою где-то в других местах ждёт и ищет, а может, это только домысел мой. Не знаю...

ТИНА

Видели ли вы когда-нибудь, как Тина здороваётся? Ах, не видели! Тогда вам непременно нужно это увидеть, непременно.

Комната, где складывают инструкции для берушей, довольно большая. В ней сидит человек двадцать, каждый за своим столиком. У Тины тоже есть такой столик, он стоит у окна, прямо возле входа, но она никогда не сядет за него сразу, а сначала

остановится в дверях и надменным, всевидящим взором оглядит помещение — все ли на месте. Затем не спеша, с достоинством высокородной дамы подойдёт к каждому, небрежно, снисходительно даже, протянет крошечную полную ручку и голосом еле слышным, расслабленным, с интонацией высокомерной, даже презрительной несколько... нет, не произносит, выдавливая: «Тина. Здравствуйте».

Да и как ещё можно с вами здороваться и к вам относиться, если вы даже не помните, что ели на завтрак первого мая прошлого года. И вообще, что вы помните? Пять дней рождений, десять праздников? А дни рождения всех, кто с вами знакомился когда-либо? А все поездки за город в мелочах и подробностях? А где вы находились... Да что с вами, слабопамятными, без толку разговаривать.

В столовой у Тины своё персональное место. Другие могут сидеть, где хотят, но она — Тина — должна сидеть только здесь и ни за что не потерпит, чтобы её права ущемлялись; и если кто ненароком займёт её место, мгновенно превращается в фурию. Её полное, надменно-робкое личико багровеет, она вопит что-то нечленораздельное, щёки прыгают, губы дёргаются, руки грозно молотят воздух, даже может ударить.

Здесь к такому поведению не привыкли, поэтому Тина всегда одна-одинёшенька, с ней даже не разговаривают, а вот напугать могут запросто, чтобы хоть как-то отомстить за противный характер. Напугать её очень просто. Достаточно крикнуть: «собака», как Тина приходит в ужас, забивается в дальний угол, дрожит там и плачет. А уж вида живой собаки совсем не выносит и на прогулке её нужно крепко-прекрепко держать за руку, потому что если любую, даже карликовую, собачку случайно увидит — убежит — не догоните.

Зато работает Тина превосходно. Ни у кого нет такого рабочего места! Всё разложено наилучшим, наирациональнейшим образом, в строгом порядке — неукоснительно соблюдаемом. Потому получается всё замечательно, с максимальной скоростью, чисто и аккуратно. Мало того, она ещё успевает в окно поглядывать и всё, что там происходит, запоминать до мельчайших, невероятных подробностей: кто, когда приезжал, что делал, с кем разговаривал, во что был одет... Проверять бесполезно: всё будто гравировано в память.

Если вы как-нибудь попадёте в комнату, где складывают инструкции для берущей, Тина обязательно поднимется с места, подойдёт, в своей единственной и неповторимой манере протянет вам руку, назовётся и непременно спросит, как зовут вас и когда у вас день рождения. Если вы ей это расскажете, можете быть абсолютно уверены — теперь, в этом эгоистичном и беспамятном мире, есть кто-то, кто будет вас помнить всегда.

